

Бурсацкие типы

Очерк второй

Николай ПОМЯЛОВСКИЙ

Три часа утра. В спальне, именуемой *Сапог*, всё покоится. Слышится храп и лёгкий бред; некоторые скрипят во сне зубами, чего терпеть не могли бурсаки и за что нередко набивали рот скрипевшего золою с целью отучить от дурной привычки; иные стонут от прилившей крови к голове и груди, а завтра рассказывать будут, как их домовою душил. Только после усиленного взглядывания в мрак, наполняющий воздух Сапога, можно рассмотреть множество бурсацких тел, брошенных на кровати и покрытых поверх одеял шубами, халатами, накидками и обносками разного рода.

В углу кто-то поднялся и на босую ногу, крадучись осторожно, начал обходить кровати. Он останавливался изредка там и сям и потом продолжал путь далее. Это был училищный вор, знаменитый некогда Аксютка. Один спящий юноша был покрыт волчьей шубой. В той шубе много было паразитов, которые, наконец, доняли бурсака. Он разбросался, шуба свесилась на пол, одной лишь половиной покрывая спящего. Аксютка наклонился к изголовью товарища, отыскал ворот шубы и, сдернув её с бурсака в один миг, мгновенно скрылся. Искусанное тело скраденного горело огнём, прохладный воздух освежил его, и он, благодаря Аксютке, уснул сладко и спокойно. Аксютка между тем успел запрятать шубу впрядь до распоряжения ею, после чего отправился в свой угол, где и заснул невинным сном праведника.

Четыре часа. Вошёл Захаренко. (На нём, кроме обязанности сечь учеников, лежала ещё обязанность будить их и возвещать колокольчиком начало и конец классов.) Он, проходя по рядам между кроватями, звонил яро над головами спящих направо и налево.

Ученики вскакивали, чесали бока и овчину на голове, отплёвывались, зевали или крестили рты; иные тупо глядели, не понимая сразу, зачем их будят в такую рань, и опять тяжёло падали на постели.

— В баню! в баню! — провозглашал Захаренко.

— Эй, вы!.. И-го-го-го! — загреготал кто-то. В баню пускали по утрам раным-раненько. Срам было днём выпустить в город эту массу бурсаков, точно сволочь Петра Амьенского, грязных, истасканных, в разнородной одежде, никогда не ходивших скромно, но всегда с нахальством, присвистом и греготом, стремящихся рассыпать скандалы на всю окрестность. В продолжение всей истории училищной жизни только и был один случай, когда днём отпустили бурсаков в баню, но после начальство долго раскаивалось в своём распоряжении. Но об этом после.

— Живо! — крикнул спальный старший.

— Подымайся! — кто-то заревел неистовым, раздирающим уши и душу голосом.

— Грешные тела мыть! — отвечали ещё неистовее. Спальня Сапога наполнилась шумом. Скоро и охотно одевались бурсаки, потому что баня для учеников была чем-то вроде праздника. Выдвигаются сундуки; у кого есть чистое бельё, связывают узлы; у кого есть деньжонки, запасаются грошами; всем весёло, потому что хоть раз в две недели бурсаки подышат свежим воздухом и увидят иные, не казенные лица, а главное — день бани для бурсака был днём разнообразных промыслов и походов.

— В пары! — командовал старший. Установились в пары.

— Марш!

Длинной вереницей отправились из спальни Сапога. На лестнице они повстречали ещё своекоштных, к хвосту их пристали ещё несколько номеров; у ворот их ожидали номера казённых учеников. Только городские остались в училище. Они ходили в баню дома, по субботам. Во главе ополчения стоял *Еловый*, солдат из училищной прислуги. Ему было поручено от начальства наблюдать порядок и тишину. Понятно, что порядку и тишины не могло быть под надзором такого педагога, как солдат Еловый. Огромной змеёй извивались по мосткам

пар двести с лишком, заворачивая из училищных ворот на монастырский двор. Гвалт, смех и неприличные остроты потрясли воздух святыни. Схимник *в келье единенной*, заслыша гуденье и шум мирской, усерднее и теплее стал молиться о грехах людского рода.

Ученикам повстречался рыжий монастырский сторож, до безобразия огромного роста. Сторож редко упустил случай посмеяться над бурсаками, когда бурсаки шли в баню либо по праздникам в город. Ученики насолили чем-то ему.

— А, вот и вшивая команда! — сказал он проходившим мимо него ученикам.

— Блином подавился! — отвечали ему. Ученикам известно было, что сторож однажды па масленице, не сходя с места, съел семьдесят три блина и выпил четверть ведра *сиводёру*, то есть водки.

— Отчего это леса вздорожали? — спрашивал сторож.

— Тебе блины пекли.

— Черти! на порку вам пошло!

— Рыжий, да ты никак на коне? Али вправду такой длинный?

— Златорунный!

— Веха!

— Каланча!

На сторожа градом сыпались насмешки. Где ж одному человеку переговорить более двухсот крепко острящих бурсаков? Он едва успел вставить своё слово.

— Слышь, паршивая команда, не воровать на базаре!

В него *Сатана* пустил ком грязи. Сторож стал лаяться на чём свет стоит.

Когда проходили последние пар семьдесят, затеялась оркестрованная брань.

— Блин, блин, блин! — запел кто-то.

Сторож не знал, что предпринять; голосу его не было слышно. Когда мимо его прошли все, когда слово *блин* раздавалось далеко, он крикнул вслед утекающей бурсе:

— Сволочь отпетая! Всех вас перепороть следует! Издалека откуда-то едва слышно до-неслось:

— Бли-и-н!

Сторож плюнул; ударили в колокол, он перекрестился набожно и пошёл к утрени.

Бурса двигалась, большинство правым плечом вперёд, по базару. Город спал ещё. Бурсаки рассыпали целую серию скандалов. Собаки, которых такое обилие в наших святорусских городах, ищут спозаранку, чем бы напитать своё животное чрево; бурсак не упустит случая и непременно метнёт в собаку камнем. Шествие их знаменуется порчею разных предметов, без всякого смысла и пользы для себя, а просто из эстетического наслаждения разрушать и пакостить. Вон *Мехалка* раскачал тумбу, выдернул её из земли и бросил на середину улицы. Хохоchet животное. Идут ученики мимо дома с окнами в нижнем этаже и барабанят в рамы, нарушая мирный сон горожан. Старушка плетётся куда-то и, повстречавшись с бурсой, крестится, спешит на другую сторону улицы и шепчет:

— Господи! да это никак бурса тронулась!

Хорошо, что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сделать ей *смазь* и *верховую*, и *боковую*, и *всеобщую*.

Едет ломовой извозчик. Аксютка пресерьёзно обратился к нему:

— Дядя, а дядя!

— Чаво тебе? — отвечал тот благодушно.

— А зачем, братец, ты гужи-то съел?

Крючники, лабазники и ломовой народ терпеть не могут, когда их обзывают гужедами.

— Рукавицей закусил! — прибавил кто-то.

Мужик озлился и загнул им кругую брань.

Когда шли по берегу реки, на которой уже стояли весенние суда, Сатана сделал предложение:

— Господа, крикнемте «посматривай!».

— Начинай!

Сатана начал, и вслед за ним пастей в сорок раздалось над рекой: «Посматривай!»

На барках мужики с переполоху повскакали, не понимая, что бы значил такой громадный крик. Когда они разобрали, в чём дело, начали ругаться; слышалось даже:

— Эх, ребята, в кольё их!

На это им ответом было:

— Тупорылые! Аншпуг съели!

— Посматривай! — хватили бурсаки что есть силы.

Над рекой повисла крепкая ругань.

Наконец под предводительством солдата-педагога Елового ученики добрались и до торговых бань. Пары остановились. Еловый у двери пропускал по паре, выдавая казённо-коштным по миниатюрному кусочку мыла. Своекоштным не полагалось. Затем пары отправлялись в предбанник, по дороге покупая веник и мочалку, потому что ни того, ни другого казна не давала ученикам. Пары бегом бежали одна за другой, бросаясь в двери предбанника. В дверях была давка: всякий спешил захватить шайку, которых не хватало, по крайней мере, для третьей части учеников, вследствие чего они должны были сидеть около часу, дожидаясь, пока кто-нибудь не освободится. При этом Аксютка с Сатаной, разумеется, были с шайками. Чрез четверть часа баня наполнилась народом, огласившим воздух бесшабашным гвалтом. Негде было яблоку упасть; все скамейки заняты; иные сидят на полу, иные забрались в ящики, устраиваемые для одежды моющихся. Старшие, цензора и прочие власти занимают отдельную, довольно чистенькую комнатку, назначаемую содержателем для лиц почётных. Дети, потешаясь, хлещут друг друга ладонями по голому телу. Большинство отправилось в паровую баню. Бурсаки страстно любят париться. Полок брали приступом; изредка слышались затрещины, которых бурсак вкушает при всяком случае достаточное количество. Тавля стащил кого-то за волоса *со своего*, как он говорил, места.

— Катька! — кричит Тавля.

— Что? — отвечает тот подобострастно.

— Поддай ещё!

— Не надо, — отвечают голоса.

— Я вам дам не надо!

— А в *рождество* (лицо) хочешь? Это был голос Бенелявдова. С ним Тавля не стал разговаривать. Он опять кричит:

— Катька! встань предо мной, как лист перед травой!

Катька явился.

— Окати меня.

Окатил.

— Парь меня!

Катька парит его. Тавля от удовольствия страшно грегочет.

На полке продолжалась возня; стонут, грегочут, визг с присвистом и хлёт горячего березняка. Вот пробирается несчастный *Лягва*. Он был пария бурсы. У Лягвы какое-то скверное, точно гнилое лицо, в пятнах, рябое; про это лицо бурсаки говорили, что на нём ножи точить можно. Куда он ни приходил, воздух делался противным и вредным для лёгких, потому что этот запах у него был и за пазухой, и на спине, и в карманах, и в волосах. Это несчастное существо, право, кажется, перестало быть человеком, было просто живое и ходячее тело человечье. Проклятая бурса сгноила Лягву, буквально сгноила Лягву. Товарищи не то чтобы ненавидели его, а чувствовали к нему отвращение, и даже редко кто находил удовольствие обижать его. Не поверят, что из пятисот человек в продолжение восьми лет не нашлось никого, кто бы решился не только дать ему руку, но и сказать ласковое слово. Не только ученики его презирали, но даже начальство и прислуга. Мы сказали, что бурса сгноила его тело: это в собственном смысле надо понимать. Он должен был по приговору начальства и товарищества жить и ночевать в спальне, которая была отведена для таких же, как он, отторженников бурсы, двенадцати человек. Дело в том, что были ученики, страдавшие известною болезнью, которая в детском возрасте не составляет ещё болезни, а зависит от незрелости организма. Никто о

них не заботился, не лечил. Бурсацкая казна не купила для них даже клеёнки, чтобы предохранить тюфяки от сырости и гнили; вместо этого страдавших этой болезнью имели обыкновение в училище сечь голенищами. Честное слово, что в тюфяках заводились черви, и несчастные должны были спать чисто на гноищах. Спросят, отчего же эти ученики сами себя не жалели и не просушивали своих тюфяков по утрам? Попадая в каторжный номер, в котором приходилось дышать положительно заражённым, ядовитым воздухом, ощущать под своим телом ежедневно рой червей, быть в презрении у всех, — они делались до цинизма неопрятны и вполне равнодушны к своей личности; они сами себя презирали. Вот факт: Лягва дошёл до того, что глотал мух и других насекомых, съел однажды лист бумаги, вымазанный деревянным маслом, ел сальные огарки.

Лягва уныло шатался по бане, высматривая, где бы добыть шайку. Он подошёл к Хорю, тоскливо и каким-то дряблым голосом проговорил:

— Дай шаечки, когда вымоешься.

Нищий второуездного класса Хорь даже по отношению к Лягве сумел выдержать роль нищего. Он отвечал:

— Три копейки, так дам.

— У меня самого только две.

— Давай их.

— Что же у меня останется?

— Ну, давай пять пар костяшек.

— У меня их нет.

— Убирайся же к чёрту, *fraterculus* (братец)!

Он подошёл к Сатане, которому, кроме этого, было другое прозвище: *Ipse* (сам). Его никогда не звали собственным именем, и мы не будем звать его. Черти, смотря по тому, к какой нации они принадлежат, бывают разного рода. Есть чёрт немецкий, чёрт английский, чёрт французский и проч. Он ни на одного из них не походит. *Ipse* был даже и не русский чёрт; наш национальный бес честен, весёл и отчасти глуповат: так он представляется в народных сказках и легендах. *Ipse* был чёрт-самородок, дух того ада, которому имя бурса. В качестве чёрта он и служил такому человеку, каков вор Аксютка. Его прозвали Сатаной за его характерец. В училище существовал нелепый обычай *дразнить* товарищей, особенно новичков. Я сейчас объясню, что это значит. Соглашались трое или четверо подразнить кого-нибудь. Они приставали к своей жертве. Сначала насмехались над ней и ругали её, потом начинались пощипыванья, наконец дело кончалось швычками, смазками, плюходействием. Задача таких невинных развлечений состояла в том, чтобы довести свою жертву до бешенства и слёз. Когда цель достигалась, мучители с хохотом бросали свою жертву, которую часто доводили до самозабвения и остервенения; так *Asinus* (осёл) прошиб кочергой голову *Идола*, который вывел его из себя. В такого рода потехах всегда принимал деятельное участие Сатана; вряд ли был другой мастер дразнить, как *Ipse*. Он решался раздражать даже тех, кто был сильнее его. Назойливее, неотвязчивое Сатаны трудно себе представить что-нибудь. Иногда он систематически привязывался с утра до вечера, в продолжение трёх дней и более, не давая ни на минуту покоя. Его часто бивали, и жестоко, но ему всё было нипочём. Он был какой-то околоченный, деревянный. Только Аксютка мог укрощать его, но и то потому, что Сатана благоговел перед бурсацким гением Аксютки.

К такого рода господину обратился с просьбой о шайке Лягва.

— А *вывернись!* — отвечал ему Сатана.

— Мне не вывернуться.

— Волоса ведь мокрые?

— Я не окачивался.

— Окатись! вот и шайку дам.

— Нет, не могу.

Лягва встал в раздумье, не зная, вывернуться или нет. Когда предлагали *вывернуться*, то ученик подставлял свои волосы, которые партнёр и забирал в пясть. Ученик должен был вы-

свободить свои волоса. Державший за волоса имел право запустить свою пятерню только раз в голову товарища, и когда мало-помалу освобождались волоса, он не имел права углубляться вторично. Мокрые волоса многие вывёртывали очень ловко. Впрочем, бывали артисты, которые решались вывёртываться и с сухими волосами: к числу таких принадлежал сам Сатана. Ipse, видя, что Лягва не решается, сказал:

— Ну, ладно, подожди, только вымоюсь.

— Вот спасибо-то! — отвечал Лягва радостно.

Он носил воду Сатане, окачивал его, стараясь выслужиться и получить шайку; наконец Сатана вымылся, и Лягва с радостным выражением лица протянул руку к шайке.

— Эй, ребята! — закричал Сатана.

— Что же ты, Ipse?

Но голос Лягвы вопиял как в пустыне. Человек пятнадцать налетело на призыв Сатаны.

— На шарап!

Сатана покатил шайку по скользкому полу. Все бросились на неё самым хищным образом.

Толкотня, шум, ругань и затрешины.

Наконец, когда вымылись многие, шаек освободилось достаточное количество. Лягва добыл шайку и начал с ожесточением намыливать голову, но лишь только волоса его и лицо покрылись густой пеной мыла, как Сатана, вернувшийся зачем-то в баню, вырвал у него шайку и сделал ему смазь всеобщую. Лягва в испуге раскрыл широко глаза, пена пробралась за ресницы, и он ощутил в них едкое щипанье, но делать было нечего; прищуриваясь и протирая глаза, он добрался кое-как до крана и промыл здесь их.

Между тем многие уже вымылись; сделалось гораздо тише в бане, хотя и слышны были иногда греготанье, брань и проч., что читатель, ознакомясь несколько с бытом бурсы, сам уже может вообразить себе.

Перейдёмте в предбанник. Гардеробщик выдавал казённым бельё. Ученики отправлялись в училище не парами, а что успел вымыться, тот и убирался восвояси.

Вот тут-то и наступал праздник бурсы.

— Теперь, дедушка, следует *двинуть от всех скорбей*, — говорил Бенелявдов Гороблагодатскому.

— То есть *столбуху* водки, яже паче всякого глаголемого бога или чтилища?

— В *Зелёнецкий* (кабак) *дерганём*.

— Только вот что: первая перемена Долбёжина.

— Так что же?

— Заметит — *отчехвостит* (высечет).

— С какой стати он заметит?

— Развезёт после бани-то натошак.

— А мы сначала потрескаем, а потом разопьём одну лишь *штофендию*.

— А, была не была, идёт!

— Так *наяривай* (действуй), живо!

При банях всегда бывают торговцы, которые продают сбитень, молоко, кислые щи, квас, булки, сайки, кренделя и пряники. Здесь идёт великое столованье. Человек двадцать едят и пьют. Второкурсные бесстыдно, а напротив — важно и с сознанием своего достоинства, пожирают и пьют чужое. Докрасна распаренные лица бурсаков дышат наслаждением. Нищий второуездного класса Хорь шатается между гостями и, по обыкновению, *кальячит*. Ему сегодня везёт: там ему отщипнут кусочек булки, здесь он просит: «дай, голубчик, разок хлебнуть» — и ему дают благосклонно, после чего датель продолжает пить из того же стакана. Только аристократы заседают в трактире, виноторговле или кабаке, смотря по вкусу и расположению духа. Огромное большинство не может полакомиться и двухгрошовым стаканом сбитня или полуторакоепечную булкою. Оно смотрит с завистью и жадностью на угощающихся, особенно на второкурсных, и щёлкает зубами. Из этого большинства выделилась довольно большая масса учеников, которые не останавливались глазеть около лавочки пред-

банника или *кальяхить*, а отправлялись на промысел, высматривая по улицам и базару, нельзя ли где-нибудь что-либо стянуть. Аксютка, однако, успел стащить сайку в лавочке же.

Шли кучками и вразбивку ученики. В эту минуту вся торговля окрест трепетала. Надобно заметить характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительным только относительно товарищества. Было три сферы, которые по нравственному отношению к ним бурсака были совершенно отличны одна от другой. Первая сфера — товарищество, вторая — общество, то есть всё, что было вне стен училищных, за воротами его: здесь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дело велось хитро, ловко и остроумно. Но в таких отношениях к обществу не было злости или мести; позволялось красть только съедобное: поэтому обокрасть лавочника, разносчика, сидельца уличного — ничего, а украсть, хоть бы на стороне, деньги, одежду и тому подобное считалось и в самом товариществе мерзостью. Третья сфера — начальство: ученики гадили ему зло-радостно и с местию. Так сложилась бурсацкая этика. Теперь понятно, отчего это, когда Аксютка стянул сайку, никто из видевших его товарищей не остановил его: то было бы в глазах бурсы фискальством. Теперь также понятно, отчего это в бурсацком языке так много самобытных фраз и речений, выражающих понятие кражи: вот откуда все эти *сбондили, сляпсили, спёрли, стибрили, объегорили* и тому подобные.

Наши герои и пошли бондить, ляпсить, переть, тибрить, объегоривать.

Главными героями были Аксютка и Сатана — *единый* и как бы *единственный* (выражение из одного нелепого, варварским языком изложенного учебника бурсы).

— Сатана!

— Что тебе?

— *Ipse!* — крикнул Аксютка.

— Да что тебе?

— Потирай руки!

— Значит, *на левую ногу можно обделать* (надуть кого-нибудь, украсть)?

— Уж ты помалчивай.

— *Купим на пятак, сожрём на четвертак!*

— Вот тебе гривенник, — сказал Аксютка.

— Что расщедрился вдруг?

— Пойдём в мелочную: видишь, отворена уж. Ты торгуйся, да, смотри, по мелочам; муки, скажи, для приболтки в суп, на *кипеечку* (копеечку), цикорьицы на грош, перечку на кипеечку, лучку на грош, клею на кипеечку, махорки на грош, леденчиков и постного маслица уже на две.

— Во что же масла-то брать?

— Да ты Сатана ли? Ты ли мой любезный *Ipse?*

Аксютка сделал ему смазь всеобщую. Сатана не рассердился на него, предвидя поживу. Он только, по обыкновению, сделал из фалд нанкового сюртука хвост и описал им три круга в воздухе, приговаривая:

— Я *Ipse*.

Аксютка стал объяснять ему:

— По мелочам будешь брать, дольше времени пройдёт. Когда спросишь маслица, скажи, забыл дома бутылочку, и не отставай, проси посудинки.

— *Облапошим!* Аксён, ты умнее Сатаны!

— Ты должен звать меня: Аксен Иваныч.

Сатане была пожалована при этом смазь. Сатана вытянулся во фронт, сделал себе на голове пальцами рожки, сделал на своей широкой роже смазь *вселенскую* и в заключение вернул хвостом трижды. Прозвали его Сатаной, и недаром: как есть сатана, с хвостом и рогами.

План их вполне удался. У Аксютки через четверть часа оказалось краденого: две булки, банка малинового варенья, краюха полубелого хлеба и десятка два картофелю. Ноздри Аксютки раздувались, как маленькие паруса, — всегдашний признак того, что он либо хочет

украсть, либо украл уже.

— Теперь, скакая играше весёлыми ногами, в кабачуру! — скомандовал невинный мальчик Аксюша.

Другое невинное дитя, мальчик Ipse, скорчил рожу на номер седьмой, на которой выразились радость и одобрение.

— Знаешь, что я *отмочил*?

— Что?

— Наплевал в кадушку с капустой.

— И-го-го-го! — заржало *сатанинское* горло.

Училищный и уличный тать Аксютка был человек необыкновенный, талантливый, человек сильной воли и крепкого ума, но его сгубила бурса (впрочем, отчасти и домашнее воспитание), как она сгубила сотни и сотни несчастных людей. В самой системе и характере его воровства сказалась сильная натура — сильная, но погибшая нравственно. Он воровал артистически. Этот каторгорождённый не мог стянуть без того, чтобы зло не подшутить над тем, у кого он крал. Когда он забирался в сундук, *ляпсил* булку, *тибрил* бумагу, *бондил* книгу и проч., — где бы другому бежать, а он не то: он сходит за камнями или грязью и накладёт их в сундук вместо краденого. Иные, зная его как вора и желая задобрить (случается, у нас и не в бурсе за-добривают воров, чтоб они не нагадили), приходили к нему с приношениями, но он отказывался от приношений, играя роль честного человека, которого оскорбляет взятка. Вот пример. Прислали из деревни одному ученику мешочек толокна. Он знал, что Аксютка видел присылку, и был вполне убеждён, что Аксютка украдёт толокно; поэтому ученик забежал к Аксютке с акциденцией, предлагая ему около двух горстей толокна. Аксютка сказал: «Я не могу есть толокна». А у самого ноздри поднялись и опустились. Аксютка пожелал сыграть остроумно-воровскую штуку. Когда успокоенный товарищ задвинул в парту мешок с толокном, Аксютка подкрался легче, нежели блоха скачет по полу, под парту *толоконника* и выкрал мешок. Сряду же после этого он подошёл к *толоконнику* и умиляющим голосом сказал ему: «Братец, ты обещал мне толоконца, так дай». Тот полез в парту; толокна не оказалось. Аксютка обругал его, сказав: «Свинья! обещал, а не даешь; я за это тебе отплачу!» — отвернулся; ноздри его раздувались, как паруса, а на роже отсвечивалось сознание своей силы в воровстве. Через полчаса он подошёл к окраденному им товарищу и сказал: «Не хочешь ли толоконца?» Аксютка держал на ладони толокно. «Это мое?» — «Нет, мне самому мамаша прислала». — «Скотина, ведь у тебя и матери-то нет!» — «Я говорю про крёстную мамашу». Таков был Аксютка. Особенно он был искусник *меняться ножками*. Здесь мы опишем ещё один характеристический обычай бурсы. Обыкновенно кто-нибудь кричал: «С кем ножичками меняться?» Когда выискивался охотник на мену, тогда между ними начиналась следующая проделка. Оба они выставляли напоказ друг другу только концы ножей; тогда следовало угадать, стоит ли решаться на мену, чтобы вместо хорошего ножа не пришлось получить дурной. Вот в этом-то деле был особенно искусен Аксютка.

Мы убеждены, что его участь — каторга. По исключении из училища он сначала поселился на постоялом дворе, где за три копейки суточного жалованья, при ночлеге и харчах хозяйских, он рубил капусту, таскал дрова, топил печи, месил хлебы и тому подобное. Но ему скоро наскучил честный труд, он обокрал своего хозяина и утёк от него. После того его встречали один раз в подряснике, другой — в тулупе, третий раз во фраке, — словом, он из училищного вора сделался всесветным мошенником. Напрактиковавшись в *девятой школе* (так древними бурсаками называлась школа жизненного опыта, которая следовала за восьмиклассным обучением в бурсе), он поступил на службу в качестве дьячка, но скоро за пьянство и буйство (он расшиб стёкла у городничего) был сослан на тяжёлую работу в какой-то бедный монастырь. Выдержав курс церковного покаяния, Аксютка поступил в соборный хор певчим, но его протурили оттуда едва ли не за разбой. Аксютка при этом должен был переменить духовное звание на мещанское. Самое важное дело Аксютки то, что он хотел зарезать бывшего своего благочинного. По этому делу он был оставлен в подозрении. Страшен этот человек, но наперёд можно оказать, что ему осталась одна торная дорога — Вла-

димировка, по которой идут сотни наших каторжников, и посреди этих сотен Аксютка будет один из самых отпетых.

Теперь мы будем продолжать о других.

Хищная бурса рассыпалась повсюду.

Старая оборванная баба, бывшая некогда камелией низшего сорта, которых прозвище — ночные крысы, торгует для поддержания своего дряхлого тела ободранными лимонами, рас-трескавшимися, как сухая глина, пряниками, серопегими булками и другим неудобоваримым отребьем. Когда она завидела возвращавшуюся домой бурсу, то, как мать, защищая своё дитище от волка, она прикрыла гнилое сухоястие грязной тряпицей и дырявым передником.

Её однажды обокрали, но теперь бурсакам не удалось утащить ни одной чёрствой булки из-под вретнища отживающей женщины. Бурсаки на этот раз ограничились одной лишь бранью с несчастной женщиной.

В другом месте промыслы учеников были удачны.

Саепёки открыли длинное и широкое окно. На досках дышат лёгким паром только что испечённые сайки. Хотя зоркий воровской глаз бурсаков сразу же заметил, что тут трудно было поживиться, но ученики всё-таки обнюхивают местность и вот с радостью делают открытие, что в другом отделении саечной пекарни на досках разложено сырое тесто. Саепёки не ожидали нападения с этого пункта и не защищали его от воров. Бурсаки, под предводительством хищного Хорька, прокрались в пекарню и стали хватать тесто, торопливо пряча его в карманы сюртуков и брюк. Едва они слышали шаги саепёков, мгновенно скрылись, и через минуту их не было даже на базаре. Спросят, к чему бы ученикам нужно было сырое тесто: неужели они съедят его сырым? Нет, они ухитрятся спечь его на вьюшках в трубах поутру топленных печей, и хотя оно выйдет с сажей — ничего! бурсаку и то на руку.

Продолжение следует

1862